

УДК 821.511.141-94
ББК 84(4Вен)-44
К36

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или
частично, без разрешения правообладателя запрещается

Печатается с разрешения издательства
Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin

Кертес, Имре.
К36 Без судьбы / Имре Кертес; перевод с венгерского языка Юрия Гусева. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 320 с. — (Холокост. Правдивая история).

ISBN 978-5-17-163896-2 (рус.)

ISBN 978-0828807760 (венгр.)

«Без судьбы» — исповедь венгерского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Имре Кертеса, который попал в концлагерь в возрасте 15 лет, смог пройти все ужасы заключения и остаться в живых.

Невзирая на трагедию, муки голода, потерю родных и близких, герой учится принимать свою судьбу и даже в жестоких и нечеловеческих условиях он пытается обрести надежду: «...я ощутил, как растет, как копится во мне готовность: я буду продолжать свою, не подлежащую продолжению, жизнь. ...Нет в мире такого, чего бы мы не пережили как нечто совершенно естественное; и на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно какая-то неизбежная западня — счастье».

УДК 821.511.141-94
ББК 84(4Вен)-44

ISBN 978-5-17-163896-2 (рус.)
ISBN 978-0828807760 (венгр.)

© 1975 by Imre Kertész
© Юрий Гусев, перевод, 2020
© Оформление,
ООО «Издательство АСТ», 2024

1

В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня от занятий на весь день — «по семейным обстоятельствам». Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся.

Из школы я отправился не домой, а в нашу лавку. Отец сказал, они с мачехой будут ждать меня там. И добавил, чтобы я поторопился: вдруг буду нужен зачем-нибудь. Собственно, он меня и от школы поэтому освободил. Или, может, для того, чтобы я «был рядом в последний день, когда он расстается с домом», — это он, правда, говорил раньше, еще утром, помню, когда звонил по телефону матери. Дело в том, что нынче — четверг, а по четвергам и по воскресеньям я полдня, после обеда, должен проводить у нее. Но отец решительно сказал ей: «Дюрку сегодня я не могу к тебе отпустить», — тогда он

и произнес те слова. А может, и не тогда. Утром я ходил немного сонный, из-за воздушной тревоги, которая была ночью, и, не исключено, что-то путаю. Но в том, что он говорил это, я уверен. Если не матери, значит, кому-то другому.

Отец и мне трубку дал ненадолго; но что я сказал матери, не помню. Думаю, она даже обиделась на меня, потому что я не очень-то был с ней разговорчив — из-за того, что отец стоял рядом: в конце концов, сегодня мне ведь надо стараться ему угодить. Когда я уходил, мачеха тоже решила сказать мне несколько слов, в прихожей, без свидетелей. Она, видите ли, надеется, что в этот день, такой печальный для всех нас, «я буду вести себя надлежащим образом». Я не знал, что на это ответить, и промолчал. Но, кажется, мое молчание она восприняла как-то не так — и стала толковать что-то в том роде, что она вовсе не сыновние мои чувства имеет в виду, сказав про поведение: тут, она знает, советы излишни. Она ни капли не сомневается, что такой взрослый мальчик — все-таки мне как-никак пятнадцатый год — сам способен понять, какой тяжелый удар нас постиг, — так она выразилась. Я кивнул. И увидел, что ей этого вполне достаточно. Руки ее потянулись было ко мне, и я уже испугался, что она собирается меня обнять. Но она не закончила движение, лишь глубоко-глубоко вздохнула, продолжительно, с дрожью. Я заметил, что глаза у нее слегка блестят от влаги. Мне стало неприятно. Потом я ушел.

От школы до лавки я добирался пешком. Утро было солнечное, совсем теплое для начала весны. Мне хотелось расстегнуть куртку, но я подумал: все-таки ветерок дует, хоть и несильный, еще откинет на сторону полу — и желтой звезды не станет видно, а это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным. Наш деревянный склад находится недалеко от дома, в переулке. Крутая лестница ведет вниз, в полумрак. Отца с мачехой я нашел в конторке — тесной клетушке с застекленной стеной, у подножья лестницы, с освещением, будто в аквариуме. С ними был господин Шютё; его я знаю еще с того времени, как он служил у нас счетоводом и занимался делами второго нашего склада, что под открытым небом; недавно тот склад он у нас купил. Так, по крайней мере, мы всем говорим. Дело в том, что у господина Шютё с чистотой крови все в порядке, желтую звезду ему носить не надо, и, как я понимаю, эта «покупка» — всего лишь коммерческая хитрость: теперь он отвечает за часть нашего состояния, ну а у нас пока сохраняется хотя бы доля доходов.

Правда, сейчас здороваюсь я с ним все же не совсем так, как раньше: ведь что там ни говори, а в каком-то смысле он теперь выше нас; отец с мачехой тоже стали с ним обходительнее. Он же упорно называет отца «хозяин», а мачеху — «милостивая сударыня», словно ничего не произошло, и не упускает случая поцеловать ей ручку. Со мной он тоже разговаривает в прежнем,

шутливым тоне. Мою желтую звезду он вообще вроде не замечает. Я встал у двери и зажмурился на минутку: в глазах еще плавали круги от яркого солнечного света; взрослые продолжали прерванный моим приходом разговор. Кажется, они обсуждали что-то важное. Сначала я вообще не понимал, о чем идет речь. Отец, кажется, убеждал в чем-то господина Шютё; как раз когда я открыл глаза, тот ему отвечал. На смуглом, круглом лице бывшего нашего счетовода, с тонкими усиками и широкой щелью между двумя передними зубами, бегали желтовато-красные, словно созревшие чирьи, солнечные зайчики. Следующую фразу снова произнес отец: речь шла о каком-то «товаре»: лучше всего, если господин Шютё «сразу заберет его с собой». У господина Шютё возражений в общем не было, и тогда отец достал из ящика стола плоский бумажный сверток, аккуратно перевязанный шнурком. Тут только я догадался, о каком «товаре» идет речь: в бумагу завернута была шкатулка, в которой лежали наши драгоценности и все такое. Думаю, «товаром» они это называли из-за меня, чтобы я не догадался. Господин Шютё тут же положил сверток себе в портфель. Но потом у них произошел небольшой спор: господин Шютё вынул было свою авторучку, чтобы написать «расписку» — в том, что он взял «товар» на хранение. Он долго на этом настаивал, а отец только отмахивался, мол, «не валяйте дурака», полно, «мы же свои люди». Как я заметил, господину

Шютё слышать это было очень приятно. Он даже сказал: «Я знаю, хозяин, вы мне доверяете, но в практической жизни для всего есть свой порядок, все должно идти как заведено». Он даже к мачехе моей обратился за поддержкой: «Не так ли, милостивая сударыня?» Но та лишь улыбнулась устало и ответила ему, ах, мол, такие вопросы пускай мужчины решают сами.

Мне это стало уже немного надоедать, когда счетовод наконец убрал свою авторучку; но потом они принялись во всех подробностях обсуждать, как быть с этим складом, куда девать сложенное тут огромное количество теса. Я услышал, как отец сказал, что, мол, стоит поторопиться, а то власти спохватятся «и, не успеешь моргнуть, приберут процветающее дело к рукам», — и попросил господина Шютё помогать в этих вопросах мачехе, у которой нет ни его опыта, ни его профессиональной сметки. Господин Шютё тут же повернулся к мачехе и торжественно заявил: «Это само собой разумеется, милостивая сударыня. Да мы и так постоянно будем с вами в контакте, по всяким там отчетам». Наверно, он имел в виду тот склад, который уже в общем-то принадлежал ему. Уж не знаю, сколько прошло времени; наконец он стал прощаться и, сделав грустное лицо, долго тряс отцу руку. И при этом многословно объяснял, что «в такой момент долгие речи вовсе даже не к месту», а потому лично он хочет сказать лишь одно слово, а именно: «До скорого свидания, хозяин». — «Надеюсь, так

и будет, господин Шютё», — ответил ему, криво улыбнувшись, отец. Тут мачеха открыла свою сумочку, вытащила носовой платок и поднесла его к глазам. В горле у нее что-то забулькало. Стало тихо; ситуация была очень неловкой: у меня появилось такое чувство, что я тоже должен сейчас что-то сделать. Но все случилось как-то очень уж неожиданно, и ничего умного мне в голову не пришло. Я видел, господин Шютё тоже чувствует себя не в своей тарелке. «Ну что вы, милостивая сударыня, — сказал он, — не надо так. Честное слово, не надо». Казалось, он немного испуган. Он наклонился и быстро приложился губами к руке мачехи, чтобы произвести обычный свой поцелуй. И сразу, едва разогнувшись, устремился к двери; я еле успел отскочить в сторону. Со мной господин Шютё попрощаться забыл. Когда он вышел, мы некоторое время молчали, слушая его тяжелые шаги по деревянным ступенькам лестницы.

«Ну вот, одной заботой меньше», — первым нарушил тишину отец. На что мачеха, еще немного плаксивым голосом, спросила: может, надо было бы все-таки взять у господина Шютё расписку? Но отец ответил, что такая бумажка никакой «практической ценности» не имеет: наоборот, хранить ее было бы даже рискованнее, чем саму шкатулку. И стал объяснять мачехе, что теперь нам нужно поставить все на одну карту, то есть полностью довериться господину Шютё, — хотя бы по той причине, что другого выхода у нас

все равно нет. Мачеха замолчала, но потом возразила, что отец, конечно, прав, но ей все равно было бы как-то спокойнее, если бы «в руках у нее была такая расписка». Но объяснить более или менее убедительно почему, ей так и не удалось. Тогда отец напомнил, что пора заняться делами, которые еще ждут их, поскольку, как он выразился, время на месте не стоит. Он собирался передать мачехе всякую деловую документацию, чтобы та без него могла в ней разобраться и чтобы торговля, пока он будет в трудовых лагерях, не захирела. Тут он обратил внимание на меня — и задал мне несколько беглых вопросов: легко ли меня отпустили с уроков, еще что-то. Потом он сказал, чтобы я сел где-нибудь и вел себя тихо, пока они с мачехой будут разбираться с бухгалтерскими книгами.

Вот только продолжалось это долго. Какое-то время я, стараясь набраться терпения, заставлял себя думать об отце, вернее, о том, что завтра он уедет и я, скорее всего, долго его не увижу. Но потом я устал от этих мыслей и тогда, раз уж все равно помочь отцу ничем не мог, стал жутко скучать. Сидеть на месте мне тоже в конце концов надоело; чтобы хоть как-то скрасить унылое ожидание, я встал и попил воды из крана. Они ничего не сказали. Спустя какое-то время я опять поднялся и пошел за штабеля досок справить малую нужду. Вернувшись, ополоснул руки над ржавой раковиной, обложенной кафелем, вытаскивал из школьного ранца пакет с завтраком, съел

бутерброды, снова попил из крана. Они опять ничего не сказали. Я сел на свое место — и еще долго, долго мучился от невыносимой скуки.

Был уже полдень, когда мы наконец вышли на улицу. У меня снова замелькали перед глазами цветные круги — теперь из-за яркого света. Отец долго возился с двумя висячими замками, тщательно запирая их; у меня было такое чувство, что он намеренно тянет время. Потом он отдал ключи мачехе, поскольку ему они больше ни к чему. Я слышал, он это сам сказал. Мачеха открыла сумку; я испугался, что она опять достанет платок; но она только ключи туда положила. Они заторопились прочь, я — за ними. Сначала я думал, мы идем домой, но оказалось, что за покупками. У мачехи был длинный список всяких вещей, которые понадобятся отцу в трудовом лагере. Часть из них она приготовила еще вчера, остальное надо было купить. Когда мы шли по улице, все трое — с желтой звездой, я чувствовал себя немного неловко. Будь я один, меня бы это лишь забавляло. С ними же вместе — я просто глаза не мог поднять. Почему — трудно объяснить. Однако спустя какое-то время я об этом забыл. В лавках всюду было много народа — за исключением той, куда мы пришли за вещевым мешком: тут мы вообще оказались одни. Воздух в ней был густо пропитан острым запахом новой клеенки. Старик хозяин, тощий, желтый, но со сверкающими вставными зубами и с нарукавником на правом локте, и его толстуха жена

держались с нами очень любезно. Они тут же вывалили на прилавок целую грудку всякой всячины. Я заметил, что хозяин зовет жену «детка» и посылает ее то туда, то сюда. Лавку эту я вообще-то и раньше знал: она находится недалеко от нашего дома; но бывать в ней мне еще не доводилось. Это что-то вроде магазина спортивных товаров, хотя продают тут и много всего другого; в последнее время — даже желтую звезду собственного изготовления: желтая ткань сейчас — в большом дефиците. (О наших звездах мачеха позаботилась вовремя.) Если я правильно разобрался, они придумали обтягивать тканью картонную форму: так, конечно же, получается куда красивей, все шесть лучей выглядят ровными, одинаковыми, не торчат вкривь и вкось, как на иных домашних поделках. Еще я заметил, что у хозяев и у самих на груди красуется их собственная продукция. Можно было подумать, желтую звезду они носят только затем, чтобы сделать ей рекламу у покупателей.

Но тут как раз и хозяйка вернулась с товаром. Старик еще до этого у нас спросил: позволено ли ему будет поинтересоваться, не для трудовых ли лагерей мы делаем покупки? Мачеха ответила: да, для них. Хозяин удрученно покивал. И даже воздел к потолку свои морщинистые, в пигментных пятнах руки, а потом скорбно уронил их на прилавок. Тогда мачеха сказала, что нам нужен вещевой мешок, и спросила, найдется ли таковой в лавке. Старик поколебался, затем произнес:

«Для вас — найдется». И обернулся к жене: «Детка, принеси-ка со склада вещмешок для господина». Мешок нам сразу понравился. Но хозяин послал жену еще за несколькими предметами, без которых, как он считал, отцу «там, где он будет, не обойтись». Он вообще говорил с нами очень тактично и сочувственно, по возможности избегая слов «трудовые лагеря». Вещи, которые он нам показывал, в самом деле сплошь были полезные и практичные: котелок с герметически закрывающейся крышкой, складной перочинный ножик с множеством всяких инструментов, полевая сумка, еще что-то в таком же роде, что, как он вскользь заметил, у него всегда спрашивают «в подобных обстоятельствах». Мачеха купила для отца перочинный нож. Мне он тоже понравился. Когда все, что нужно, было отобрано, хозяин скомандовал жене: «Посчитай!» Старуха с трудом втиснула в кресло перед кассовым аппаратом свое грузное мягкое тело в черном платье. Хозяин проводил нас до дверей. Там, прощаясь, он сказал: «Почту за честь снова увидеть вас», — а потом, доверительно наклонившись к отцу, добавил вполголоса: «Вы же меня понимаете: чтобы вы и я были живы и здоровы».

Теперь наконец мы в самом деле направились домой. Живем мы в большом доходном доме, недалеко от площади, где проходит трамвайная линия. Мы уже поднялись на второй этаж, когда мачеха вспомнила: а хлеб-то забыли купить! Она достала карточки, и мне пришлось бежать

в булочную. Перед входом была небольшая очередь. Отстояв ее, я попал сначала к белокурой, полногрудой жене булочника: она отстригла нужные квадратики, — и потом передвинулся к самому булочнику, нарезающему хлеб. На приветствие мое он не ответил: все в окрестностях знали, что евреев он терпеть не может. Потому он и хлеб мне швырнул, взвесив его кое-как; по-моему, там граммов на двадцать-тридцать было меньше, чем положено. Недаром говорили, что у него от пайков всегда остается много излишков. И я, заметив его злобный взгляд и быстрое движение, каким он сбросил с весов порцию хлеба, в тот момент как-то вдруг понял, что его нелюбовь к евреям справедлива и объяснима: ведь относись он к ним как к обычным людям, его, наверно, грызла бы совесть, что он их обвешивает. А тут он поступает в согласии со своими убеждениями, действия его управляются какой-никакой, а идеей, хотя действия эти — как я не без горечи подумал — могли бы быть и со всем другими, куда более для меня приятными.

Домой из булочной я почти бегом бежал: ужасно есть хотелось; и потому только на одну минутку остановился, встретив на лестнице Анна-Марию, которая как раз вприпрыжку спускалась по ступенькам. Она живет с нами на одном этаже, у Штейнеров, а с ними мы обычно встречаемся (в последнее время — каждый вечер) у Флейшманов. Раньше мы с соседями не очень-то замечали друг друга, но теперь оказалось, что

все мы — товарищи по несчастью, так что сам Бог велел посидеть вечером, обменяться сообщениями, слухами, обсудить, что будет дальше. Мы-то с Анна-Марией разговариваем и на всякие другие темы; так я узнал, что Штейнер, собственно, дядя ей: дело в том, что ее родители как раз разводятся, а поскольку насчет дочери договориться еще не смогли, то и решили: пусть пока здесь побудет, чтобы ни у того, ни у другого. До этого она жила в интернате, по той же самой причине, по какой, не так давно, был в интернате и я. Лет ей тоже примерно четырнадцать. У нее длинная стройная шея. Под желтой звездой начинает формироваться грудь. Сейчас ее тоже послали в булочную. Еще она спросила: не хочу ли я, где-нибудь ближе к вечеру, поиграть в карты вчетвером, с ней и еще с двумя девочками, они сестры и живут этажом выше. Анна-Мария с ними дружит, а я их разве что в лицо знаю: встречались на лестнице да в бомбоубежище. Младшей из сестер на вид лет одиннадцать-двенадцать. Старшая же, как сказала Анна-Мария, ее ровесница. Иногда, сидя в комнате у окна, что выходит во двор, я вижу, как она бежит по галерее напротив, спешит домой или из дому. Пару раз мы сталкивались и в подъезде. Я подумал: за картами мы могли бы поближе с ней познакомиться: что до меня, я бы с удовольствием. Но тут я вспомнил про отца — и сказал Анна-Марии: сегодня ничего не выйдет, сегодня мы с отцом прощаемся, его в трудовые лагеря забирают.

Тогда и она вспомнила: да, она дома тоже об этом слышала, дядя рассказывал. И сказала: «Ну тогда что ж, ладно». Мы немного помолчали. Потом она спросила: «А завтра?» Я сказал: «Давай лучше завтра». Но и тут сразу добавил: «Если получится».

Когда я пришел домой, отец и мачеха уже сидели за столом. Мачеха, доставая для меня приборы, спросила, не проголодался ли я. «Как волк», — ни о чем другом не думая, сказал я; потому что так оно и было на самом деле. Она поставила передо мной полную тарелку, себе же едва плеснула чего-то. Но не я, а отец это заметил — и спросил ее: что-нибудь случилось? Она ответила — мол, сейчас у нее желудок не способен никакую пищу воспринимать; тут я и обнаружил свой промах. Правда, отец ее поведение не одобрил. Он стал говорить, что сейчас, когда ей так нужны силы и выдержка, поддаваться настроению ни в коем случае нельзя. Мачеха не ответила, зато я услышал какие-то непонятные звуки, а когда поднял глаза, увидел, что она плачет. Мне опять стало не по себе; я опустил взгляд в тарелку, но все же уловил краем глаза какое-то движение: это отец взял ее за руку. Прошла минута; было совсем тихо; когда я осторожно посмотрел на них, они сидели, держась за руки и глядя друг на друга, как это делают, скажем, мужчины и женщины в фильмах. Мне такое никогда не нравилось, я и сейчас почувствовал себя неловко. Хотя, собственно, думаю, ничего тут особенного

нет, вполне обычное дело. Только я все равно не люблю. Сам не знаю почему. В общем, когда они снова стали разговаривать, я с облегчением перевел дух. Они опять вспомнили господина Шютё, правда, ненадолго, только в связи со шкапулкой и со вторым нашим складом; отец еще раз успокоил мачеху: по крайней мере, эти две вещи «теперь, он уверен, находятся в хороших руках». Мачеха опять согласилась с ним, хотя вскользь снова вспомнила про «гарантии», в том смысле, что да, конечно, конечно, но ведь вся их уверенность ни на чем, кроме честного слова, не зиждется, и большой вопрос еще, достаточно ли честного слова в таких делах. Отец пожал плечами и ответил, что сейчас не только в коммерции, но и «в других областях жизни» никто ни о каких гарантиях не помышляет. Мачеха издала прерывистый вздох и тут же согласилась с отцом; она уже сожалеет, что затронула эту тему, — и попросила отца не говорить так и вообще ни о чем не думать. Но отец ее не послушался и стал вслух размышлять о том, как она, мачеха, будет справляться с заботами, которые теперь, в эти тяжелые времена, свалятся на нее, и как она разберется во всем этом одна, без него. Но мачеха ответила, дескать, почему же одна: ведь рядом всегда буду я. Мы с Дюркой, продолжала она, будем помогать друг другу и заботиться друг о друге, пока отец не вернется и не будет опять с нами. Она даже повернулась ко мне и, чуть склонив голову к плечу, спросила: ведь так? Она улыбалась, но губы у нее